

ВЛАДИМИР

МАКАНИН

*Провинция
и Травница*



Владимир Семенович Маканин

Провинциал и Провинциалка

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3955615
Маканин В. С. Провинциал и Провинциалка: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-59210-4*

Аннотация

Виктору Ключареву слегка за тридцать, но он уже выбился в люди, удачно женился, родил двоих детей. Однако счастливый брак лишь внешне благополучен. Виктор ведет двойную жизнь – оказалось, для счастья недостаточно одной любви. И даже двух любовей... Валечка Чекина с детства обожала романы Бальзака, влюблялась скоропостижно и каждый раз – навсегда. Дважды побывав замужем, она, как мадам Бовари, продолжала поиск мужского идеала. Попутно раня тех, кто по-настоящему ее любил...

Маканин в повестях «Провинциал» и «Провинциалка» заставляет задуматься о древней и суровой природе человеческих чувств. Показывает удивительные судьбы и еще более удивительные характеры людей грешных и уязвимых, но прекрасных. Сначала их осуждаешь, а потом вдруг проникаешься невероятной симпатией и пониманием.

Содержание

Провинциал	4
Глава 1	4
Глава 2	7
Глава 3	19
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Владимир Маканин

Провинциал и Провинциалка

Провинциал

Глава 1

А жизнь идет. И всё дела, и все важные. Ну, скажем, нужные, – оно как-то обязывает, если скажешь «нужные». И обязывает, и оправдывает. То вдруг жена, и надо как-то участие принять, потому что, оказывается, несчастлива подружка жены. С которой жена когда-то училась вместе. И идешь и принимаешь участие.

А на это «участие» по времени захлест уже наползает, как тень, муж сестры Анечки, который пьянствовал, и не в шутку. Он пьянствовал и мировые проблемы решал, а ты просто и тупо мучился, потому что сестра и потому что родная. В конце концов решился и сдал его на принудительное лечение, а он грозил: «Вернусь, Витька, убью. Так и запомни!..» И вернулся, и не убил, и даже как-то дружнее стали, но опять не слава богу. Что-то у него там в больнице обнаружили. Заодно. И вот теперь операция предстоит, и ведь тоже на тебе повисло. И никуда не денешься... И главное, что одно за одним. За год промелькнуло этак лиц пятьдесят. И это если считать лишь тех, кто крупным планом. И вдруг подкатывает холодок, и чувствуешь, что все они, в сущности, чужие. Или это они стали чужими оттого, что их пятьдесят. Уже и не разберешь, что первично. Вот именно. Весь мир, говорит, не трудно в душу вместить, ты, говорит, поди вмести моего соседа... Одно за одним. И иной раз оглянешься вот так на бегу, окинешь эту громаду домов, толпы людей и толпы собственных забот (это уж внутри себя!) – и вдруг вырвется:

– И как же это меня сюда занесло?

И ведь именно занесло, то есть само получилось. Ведь он, Ключарев, не очень-то и старался.

Приходит к нему, Ключареву, сосед – через два подъезда живут – и жалуется. Дескать, безобразие у них на лестничной клетке. Жильцы, говорит, как собаки. «Вот меняться хочу». – «Куда?» – «Все равно, лишь бы от них подальше. Уже объявление на столбах повесил». – «Винца хочешь выпить?» – «Давай», – и ведь бесконечный же идет разговор. И Ключарев даже сочувствует: да, дескать, бывает. И даже подскажет, что не на столбах надо, а в обмен-бюро. И про районы. И еще что-нибудь подобное, копеечное. Подскажет, а сам подумает: нигде ты, братец, лучшего не найдешь, у большого города свои законы. То есть с жильцами тебе, может, и повезет. Но, значит, в чем-то другом таким боком выйдет, что маму вспомнишь, никакая это не мистика – закономерность большого города. И он, Ключарев, это давно понял. И давно махнул рукой.

Или вот. Приятель на работе жаловался. Вчера. Говорит, любовь у него и, говорит, сразу столько хлопот. И клянет всех и сочувствия просит. И помощи всякого рода. А уж где помочь ему, когда свои-то дела расталкивать не успеваешь. Тут не то что любовь, насморк боишься подхватить... «Ты ж знал, на что шел, – говорит ему Ключарев. – Ведь такая любовь всегда хлопотливая». – «Какая такая? Но-но. Ты не очень. У меня не такая любовь, как у других». – «А у других не такая, как у тебя. Верно?» И вот приятель задумался, впал в грусть, эту самую грусть уже и не пряча. Ключареву и жаль его, а что скажешь? Есть, правда, один славный совет. На все случаи жизни. «Не надо было заводить». – «Что значит заводить? Любовь –

это не собака!» – «Вот именно, – говорит Ключарев. – Не собака. А на собаку, рассказывают, тоже нервы тратить приходится». – «Я думал, ты мне посочувствуешь». – «Но ты же завтра с моста прыгать не станешь?..» И разговор кончается тем, что приятель торжественно сообщает Ключареву, что он, Ключарев, равнодушный человек. И тут Ключарев решился ответить. Обычно он не отвечает на такое, ведь обратного не докажешь. Да и не мальчик он, чтобы что-то кому-то доказывать. Так что это случайно он взял и ответил:

– Я не равнодушный. Равнодушный никак не реагирует... А я смеюсь над всем этим.

То-то и оно. Поправка. Смеется он и над другими, и над самим собой – так что все чисто. Это лишь суета, суета большого города, и ничего тут иного, объясняющего. И ведь никто нас всех сюда не тащил. Сами ж выбрали. Живет он, Ключарев, в доме, в кооперативном, – хороший такой дом, благопристойный. И машин вокруг дома много стоит, собственных. И деревья сами в субботник посадили. Ну не дом, а полная чаша. И друг с другом всегда здороваются, уважают друг друга. И разговоры про микроклимат, про то, что, дескать, сами создаем себе жизнь – истинную жизнь большого города...

Было воскресенье в Старом Поселке, светлое воскресенье и не жаркое.

– Мужики!.. А мужики!

Этот крик (или зов) как бы висел в бараке. И в коридоре шаркали ноги. Отец поднялся со стула, вышел, за ним тут же шмыгнул в коридор Ключарев-мальчик.

– Что такое? – спросил отец.

– Ничто!.. В баньку надо, орский нос! – рявкнул Сашук Федотов.

Собирались. Галдели.

Появился в коридоре дядька Ваня – стало совсем шумно.

– Пиво будет? Бабы будут? – Дядька Ваня играл серыми своими глазами.

Двинулись толпой человек в двадцать. Тон задавал дядька Ваня, похохатывал. Сзади, чуть отставая, – вторая толпа! – тянулись женщины, кое у кого в узелках контрабандная стирка. В бане от грохота и гулко-го звука шлепающих шаяк Ключарев обалдевал. Баня была для него мифическим существом, живым, единым. А свист пара, который рвался из чуть приоткрытого крана, намекал на сдержанную и скрытую силу... В тот день не баня была, а жара, жарница, пекло, и он потихоньку пил холодную воду из крана – отец ударил его по шее, пить было настрого запрещено, и Ключарев-мальчик, скуля, ходил по скользкому ручьи-стому полу и высматривал новый кран – от отца подальше. И тут случилось нечто. Дверь женской половины (через внутреннюю перегородку) вдруг распахнулась с пушечным звуком.

– А-а-а-а... А-а-а-а! – повис крик.

У Ключарева открылся рот – из дверей стремительно, одна за одной, выскакивали и мчались прямо на него женщины. Сначала бабки. Вислогрудые и бесцеремонные, они что-то вопили не своими голосами. За ними женщины средних лет. По сравнению с бешеным аллюром голых старух эти тоже напирали, но как-то бочком, с долей стеснительности. И последними – полусогнутые от стыда, смущенные, прикрываясь шаечками, теснились молодые.

– В гости пришли! Во дают!.. Смелей, смелей! – кричали мужики из всех углов.

Стоял гогот. Такого оглушительного, ярого и с лопающимися звуками смеха Ключарев в своей жизни больше не слышал. В женской половине прорвалась труба, свистящий, обжигающий пар тремя струями отрезал им выход, а уже через минуту прямо-таки погнал в мужское отделение. Застыдившиеся молодухи очень скоро нашли защиту – бабки!

– А ну, поворачивай морды! А ну, убирайтесь! – покрикивая и тыча сухими кулачками, бабуси загнали мужиков, всех до последнего, в парную. Крики стихли, и лишь из-за двух пацанов (Ключарев и сын Сашука Федотова) продолжали спор.

– Да пусть их остаются, им не стерпеть в парилке! – говорили женщины средних лет, и одна из них гладила Ключарева по голове. – Они еще не понимают...

– Гнать! Гнать! – наседали старухи, и после нескольких подзатылков Ключарев очутился в парной. Здесь нечем было дышать. Тем более из-за скопившегося народа. Отец подвел его к самой двери, расчистил место на нижней ступеньке, и тут стало полегче.

После бани возвращались в барак уже одной общей толпой. Взбесившиеся, опаленные паром бабуси (им не понравилось в мужском отделении – тесно) кричали, теребили всех и чуть ли не подозревали в случившемся умысел.

– Но, товарищи! Послушайте! – пробовал говорить речь Калабанов, инженер и гроза всех в Поселке, образ его укладывался в емкое словцо – «начальник».

Его перебивали:

– Паразит! Позорник, куда ты смотрел?! – И бабуси кричали и непрощенно грозили крючковатыми пальцами.

Дядька Ваня и его приятели хохотали и били себя по бокам, это еще больше злило бабусь.

– Паразит!.. Вредитель!

Терпение Калабанова лопнуло, и он гаркнул:

– Молчать, ведьмы!.. В другой раз совсем выгоню! – Он и пришел-то в баню за компанию, париться не любил. Позже, когда он на мотоцикле стал носиться к своей татарочке, он часто и охотно рассказывал, что татарские бани, если б не грязь, значительно лучше и полезнее.

– А сейчас, значит, раз-раз – и за пивом! – пересиливал всех командный голос дядьки Вани.

Глава 2

Ключарев бреется. Утро ни то ни се – будто бы солнечное, но поминутно набегают тень. Блики.

– Мы пошли, – говорит жена.

Это значит, что жена и дети уже оделись, готовы и стоят у самых дверей. Дети, цветы нашей жизни, – Дениску в школу, а Тонечку в детский сад. Жена разведет их по местам, как разводят караульных, и (не заходя домой) поедет на работу. Обычное утро Ключаревых. В прошлом году Дениска учился в школе во вторую смену, и во времени получалась чересполосица. Сейчас лучше. Сейчас гораздо лучше. С самого утра день начинается четко и строго: все по местам.

– Ты что-то нервничал вчера? Заснуть не мог? – спрашивает жена.

Она заглядывает на минуту к нему в ванную – она в легком пальто, май месяц, но тепло не балует. Дети топчутся в коридоре.

Ключарев продолжает бриться и видит ее, отражающуюся в зеркале, – в легком клетчатом пальто.

– Не спалось... Весна, может быть, влияет.

– Хорошо же она на тебя влияет!

– Ворочался, что ли? – улыбается Ключарев.

– И даже на пол меня толкнул... Ну, мы пошли.

– Ага.

Дверь хлопнула. И слышно, как гудит лифт. Ключарев бреется – шлифует наиболее трудное место у подбородка. Из зеркала глядит сонное собственное лицо, слишком знакомое, чтобы что-то такое о нем подумать... Финита. Он прошагал в комнату – и теперь продувает электробритву, распахнув окно. И вот тут, накладкой к механическому движению руки (он открывал окно), мелькает мысль, что скоро он увидит Старый Поселок. Даже не мысль, след мысли. Как зализ мелкой речной волны – лизнула, и нет ее, и только холодок по телу.

– А приятно подумать! – говорит Ключарев самому себе в лифте, хотя ясно, что Поселок за тысячу километров и что никак его Ключарев увидеть не может. И что даже на интуицию, на некое предчувствие свалить – тоже натяжка... Но ведь приятно.

Ключарев выходит из метро. Магазин. Витрины. Ключарев идет вдоль громадных стекол, и рядом идет его отражение. Тридцать лет. Ровный шаг. Портфель в руке. Специфика лица... И в общем-то, уже ясно: научный работник. Или, скажем, юрист. Нет, все-таки научный, научно-технический – плечи выдают. Они, плечи-то, обтекаемей, да и помягче. Так или иначе, но определенный вес среди людей. Довольно густая, хлесткая речь (это уж обязательно при случае!) и довольно средненькая зарплата. Ключарев подмигивает своему отражению:

– Как дела?..

Эта типичность и похожесть на других любопытна сама по себе (мысль Ключарева начинает понемногу просыпаться)... Похожесть не только обедняет. Она ведь, в общем-то, и оберегает человека. Страхует его. Так сказать, в генетическом смысле. Как ни верти, в этой неуловимости, неотличимости от других, несомненно, есть что-то защитное. Но додумать Ключарев не успевает. Стоп. Встреча.

– Жду тебя, – говорит человек, слегка пряча глаза, хитрые глаза хитрого зама. Он и действительно зам. Но не в том отделе, где работает Ключарев. – Стою и жду.

– Да уж вижу.

Он лишь немногим старше Ключарева, и церемоний быть не может. И будто бы два знакомых встретились. И говорят будто бы о футболе.

– Ну так как насчет перехода в наш отдел?

– Никак.

– А ты хорошо подумал?

Толпа спешащих на работу оттесняет их с середины тротуара. К какой-то стене. Вот тут... Тут они стоят и курят.

– Ключарев, ты все-таки подумай!.. Ведь хорошей темы вам не дадут. Ты ж не так наивен, как твой начальник.

Ключарев пожимает плечами: дадут не дадут – кто знает!.. А знает, между прочим, он сам, Ключарев, – то есть знает, что не дадут. Догадывается. Бывает тема, что не размахнешься (молодые говорят, не проявишься), – это темы, где знай вкалывай для заказчика. И не жди, что оценят. И не почему-то, а потому что сам заказчик-то цены своей работе пока не знает. А бывает тема – золотая жила. О таких темах трубят и шепчутся. Там сыплются диссертации и открытия и, уж во всяком случае, для творчества простор.

– Простор – это прекрасно, – говорит Ключарев, на минуту как бы поддаваясь. – Ты хорошо уговариваешь.

– Профессионально.

– Пусть так... Но ведь вашему отделу тоже такую тему не дадут.

– Я не говорю, что дадут. Я лишь утверждаю, что у нас она появится скорее, чем у вас.

Это уже намек на Ивана Серафимовича, начальника Ключарева. У него непоколебимая репутация мямли. Станный народец эти замы. Ну уйдет Ключарев от мямли. А к кому попадет? К такому же мямле. Да, двадцать пять рублей лишних. И только за то, что он переметнется к ним (уж говорил бы тридцать – оно понятнее!)... И ведь трогает, ведь не пустяк. Это ведь в разговоре двадцать пять – чепуха, а в жизни – это кое-что иное, оно ведь ежемесячно. «Ключарев? Хороший парень. И работать умеет. Но ты знаешь, он ведь ушел от своих за двадцать пять рублей надбавки». – «Не может быть». – «Ей-богу. Я сам ему это предложил». Вот именно этот хитроватый зам так и скажет однажды. Тот еще народец.

– Зачем так цинично?.. Я же с тобой говорю открыто.

– Да вот ведь и я открыто, – улыбается Ключарев.

– Я ведь тебе и честно, и откровенно...

– И за спиной моего начальника, – подхватывает Ключарев ноту. – Это честно?

– Но с тобой-то я честен и откровенен.

Оба замолкают. «Подожди. Не так будем петь, когда ты будешь у нас работать», – думает зам. Для Ключарева это тоже не секрет. Догадаться не трудно... Двадцать пять рублей как воздушный шар. То как бы приближаются к Ключареву, то опять возвращаются в гигантский карман хитрого зама.

Тем не менее хитрый зам грустнеет. Насвистывает что-то. Не ждал сопротивления.

– Я не строю из себя какую-то там девственницу, – говорит Ключарев и поглядывает на часы. – Ей-богу, не строю.

– Так в чем же дело?

– Видишь ли, я человек увлекающийся. Меня увлечь надо. – Мысль нравится, и Ключарев тут же развивает ее: – Умей твой начальник увлечь, будь он, так сказать, личностью, я бы, может, и рискнул. Я бы и на черную тему пошел. Я бы и за спиной начальника договорился. Я бы даже обманул его...

– Ты старомодный человек.

– А что делать? – Ключарев улыбается.

Он улыбается, он вспомнил Калабанова из Старого Поселка. (При всех своих глупостях Калабанов увлечь умел. Этого не отнимешь.)

Хитрый зам тоже улыбается. Ясно, что в эту минуту разговор бесполезен. Ключарев во власти какой-то идейки. Это ведь с каждым бывает. Но идейки временны, а двадцать пять рублей постоянны. Более того, ежемесячны. Так что пусть яблочко созревает, и если оно способно созреть, то...

– Но ты все-таки подумай. – И зам протягивает руку. – Пока.

– Пока.

– Немного опаздываем, а?

– Минут пять, не больше...

Ключарев входит в отдел:

– Привет всем.

А все как раз рассказываются по местам. Шумки и разговоры. Стул да стол с бумагами, боевое место, неотличимость от других. К Ключареву направляется Бусичкин – человек номер один, самый талантливый в отделе. Он спрашивает. Он спрашивает с ходу, сейчас он чем-то похож на шустрого газетчика из старых фильмов:

– Ну?.. Как твое мнение? Дадут нам наконец настоящую тему?

– Откуда мне знать? Скорее всего, не дадут, – говорит Ключарев.

И видно, он подливает масла в огонь. Все вокруг возмущаются: как это не дадут? как же так?.. Всплеск вчерашних и позавчерашних разговоров. Неизвестность тяжелее всего. Ключарев не отвечает, не спорит, не вмешивается – он идет к своему столу и лишь привычно кривит губы в улыбке. «Он же у нас такой ироничный. Наш Ключарев – это же сама ирония!» – летит ему в спину голос, а он идет себе в дальнюю комнату. Отдел состоит из двух комнат, проходной и дальней. Место Ключарева в дальней.

– Привет.

Он садится за свой стол. Рядом, как всегда, Галя Южина – жует бутерброд, не успела позавтракать... Подходит неудовлетворенный и гневный Бусичкин. Он опять о том же – почему ты не хочешь поговорить? Обсудить?

– Но ведь от нас не зависит, – отвечает наконец Ключарев. – Министерство без нас решит. Или тебя уже перевели в министерство?

Бусичкин обиделся, а с ним иначе нельзя.

Работы как таковой нет. Тематика действительно исчерпана, и даже отчет уже позади. Но у Ключарева всегда есть кой-какие задачи. Он, Ключарев, из тех, кто в любое время и при любой погоде. Потому-то и сманивают его. Сейчас-такие-в-моде, что-при-любой-погоде (и это руки Ключарева уже разложили бумагу, взяли карандаш – ага! не те цифры!). Это и есть внутренний покой. Покой изо дня в день, не так ли?.. Ключарев как бы ловит хвостик утренней мысли. Той, что у магазинной витрины, – вот ведь от чего защищает типичность и похожесть на других. От излишних размышлений. Ну ясно. Живу как все, типичен в меру и в меру счастлив.

Он работает четыре часа без передышки. Как каждый день. Как автомат. Без этого ему нехорошо, и без этого он болеет. Профессионализм высокого класса. Он оглядывается. Кругом кой-какие разговоры. И споры: темы-то нет.

Он сладко потягивается – оплата телу за четыре часа сидения. Галя Южина отворачивается. Это уж как всегда, она сотню раз просила при ней не потягиваться. Он просил ее не жевать бутерброды. Равновесие мелочей. Но когда поработаешь, так сразу мелочиться не тянет.

– Галь, забылся. Ну говорю же, забылся... Ей-богу, больше не буду.

Ключарев выходит в коридор. Покурить уединенно. И подумать. Так ли уж нужно за него (за своего начальника) держаться?

Эти дни начальник бежит по министерству. Там, кстати, с ним совершенно не считаются. Мямля. «Унижений-то сколько! – жаловался он как-то Ключареву. – И сердце дергает». – «А не унижайтесь!» – «Не получается, Виктор». И Иван Серафимович улыбнулся с добродушием выпавшегося ребенка: дескать, такой уж я есть... Мягкий. Деликатный. Оно, разумеется, плюс, и плюс немалый. Но ведь и минусы тут как тут.

Или вот. Тоже черточка. Восьмое марта. Смех, шуточки, то, се, а Иван Серафимович бродил по отделу со странным лицом. Он, разумеется, сроду бы не вылез из своего кабинета, но ведь Восьмое марта – он должен был поздравить женщин. И вот он двигался меж столов, поздравляя и клоня свою голову чуть набок (сама предупредительность). А напротив уборщица – пришла подмахнуть мусор, – и вот Иван Серафимович вздрогнул, поднял на нее глаза. «Вера Степановна», – тая улыбку, прошептал и подсказал Бусичкин ее имя.

– Вера Степановна, я поздравляю вас... э-э-э... и там, в приказе. Там... э-э-э... скромный денежный подарок.

И, проговорив это, Иван Серафимович смутился вконец, он пунцов и взмок от пота (угадать трудно, но думается, что во всей этой сложности есть та тонкость: он попросту стыдится своей большой зарплаты). И не то чтобы он был от природы неловок. Вовсе нет. В кабинете он говорит как птица поет. Но тут, в отделе, в нем видели (и это он точно знал) начальника, и это-то его тяготило. Такой человек.

Или, скажем, кино по четвергам. Так сказать, общение с коллективом. Вне работы. Он знает, что общаться нужно, – знает, помнит это, вот ведь как. Обычно Иван Серафимович приглашает с собой Ключарева или Бусичкина, самое большее еще кого-нибудь. Втроем или вчетвером. В конце рабочего дня Ключарев (или Бусичкин) входит к начальнику в кабинет и спрашивает:

– Ну что?.. Отправимся в кино?

– Да, да. Четверг... Традицию нарушать нельзя. – При этом Иван Серафимович улыбается и протягивает Ключареву «Вечернюю Москву», вчерашний номер. Той стороной, где перечень фильмов.

Ключарев, устало зевнув, выбирает – водит пальцем по названиям. И спрашивает:

– На дю-дю пойдем?..

Так они называют детективные фильмы с погонями и слежкой. Маленькая страсть Ивана Серафимовича... Они заходят за Бусичкиным – и втроем через полчаса они уже в кинозале. Иван Серафимович смотрит, как ребенок, чуть приоткрыв рот и не отрывая глаз от мерцающего экрана. Он весь в другом мире. Он там. Конус света, темнота кинозала, вульгарная речь героев и медная музыка – это как бы освобождает душу Ивана Серафимовича. Все его сокровенное, мужское, заторможенное работой и однообразной жизнью, спрятанное вглубь, – всплывает. Это он стреляет, скачет и грубо (но, разумеется, с оттенком бла-ародства) покрикивает на обнаженную красавицу.

Затем они выходят из кинотеатра. Дю-дю кончился, и теперь ясно, что это был фильм. Только лишь фильм, притом глупый. Ивану Серафимовичу как бы даже совестно – он, как всегда, ни слова не скажет о кино, о только что виденном и слышанном. Они – втроем – будут говорить о работе, о статье Федорюка и о том, что же, в конце концов, соизволит решить министерство... И ни словца о своем, о внутреннем. И уже само собой, что никогда и ни при какой беде Иван Серафимович не примчится в отдел и не скажет, протягивая руки с вывернутыми ладонями: «Братцы... Братцы мои!..» На секунду Ключарев притормаживает иронию (ишь, разбежалась!). Он как бы ловит себя, подкусывает: а нет ли в нем, Ключареве, скрытой и, в сущности, рабской тоски по сильному начальнику?

И в конце штришок.

– До свиданья, – говорит Иван Серафимович, как обычно первый протягивая руку, крепкую при пожатии (подсознательное влияние кинухи).

– До свиданья.

– До свиданья. – И все трое разойдутся. Пообщались.

Вот такой он, Иван Серафимович. Начальник Ключарева. В общем-то, Ключарев привык к нему, и давно привык. И если бы не тот хитроватый зам, не двадцать пять рублей в месяц и не щекочущая возможность выбора (впрочем, какой там выбор: шильце на мыльце!) – не стал бы он перебивать его начальнические белые косточки. Косточку, как говорили в Старом Поселке, перебивать косточку.

Ключарев идет в кабинет начальника. Ивана Серафимовича там нет – в эти неопределенные дни он все больше торчит в министерстве. Забегает на работу на час-два и опять мчит туда. Вымаливает хорошую тему. Выямливает.

Ключарев сидит за столом – один в кабинете. Мысль о начальнике идет своим ходом, а руки сами собой (он для этого и вошел в кабинет) берутся за телефон. Ключарев набирает номер. Он звонит некоей Лиде, и это он звонит не потому, что он этого хочет. Более того, он совсем не хочет. Но если не позвонит он, то уж точно позвонит она. И это будет хуже, если позвонит она. Надо с ней развязаться немедленно. Она вчера звонила. И позавчера... Три года не виделись, а теперь ей ни с того ни с сего вдруг вздумалось его, Ключарева, дергать.

– Лида, – говорит он, услышав ее голос, – я зря вчера тебе пообещал. Я не смогу прийти.

– Я так и знала.

– Не сердись, Лида. Не сердись...

Он пытается переломить виноватящийся тон, но поздно. Разговор получается плавающим и неопределенным. Слово за слово. То да се. Ключарев наконец кладет трубку и (он еще вспомнит этот разговор) сидит очень собой недовольный. Не собрался внутренне. Разговор – штука самотечная. Как бывает подчас самотечной и сама жизнь.

В кабинет входит Иван Серафимович. Полдня провел в министерстве (судя по виду – зря).

– Никак не могут они принять решение, – подтверждает Иван Серафимович. – Все тянут и тянут!

Обеспокоенный и взволнованный, Иван Серафимович тем не менее замечает кислоту в лице Ключарева:

– Вы чем-то расстроены, Виктор?

– Самотечностью жизни. – И Ключарев смеется, отмахиваясь от тех мыслей.

Иван Серафимович тут же истолковывает это как намек на работу отдела:

– Не тяготитесь, Виктор. Не тяготитесь, ради бога... Нам предложат, и, быть может, на днях, интереснейшую тему!

Ключарев отвечает, что он и не думает тяготиться. Если даже велят продолжать старую – тема как тема. Работать можно.

– Нет, Виктор, я не успокаиваю. Будет великолепная тема. Великолепная!

В этом Ключарев как раз не уверен – у него трезвый ум. Но охладить начальника он не успевает. Иван Серафимович уже воспламенился. Вспыхнул. Уже мечтает:

– Представь себе для начала, что нам дают проблематику Н-ского завода!

Иван Серафимович ходит по кабинету взад-вперед. Он не умеет увлечь других, зато он умеет увлечь себя. Всплеск души. Волна за волной. Иван Серафимович уже говорит о смысле работы. Он обобщает. Он вспоминает Данте. Люцифер, застрявший в самом центре Земли. Вергилий и Данте начинают спускаться по огромному мохнатому телу Люцифера. Вот его плечи. Вот, наконец, середина тела (пояс Люцифера, центр центра Земли), и тут... они как бы в невесомости разворачиваются и, продолжая спускаться, спускаются, но одновременно уже идут вверх!.. То есть в другую сторону Земли – как это могло произойти?

– Потрясающе! – всплескивает руками Иван Серафимович. – Чем тебе не мнимая ось?!

И еще, на том же запале:

– Вот тебе и кривизна пространства! И когда? – в тихом Средневековье.

И еще (и это, видимо, вершина его мысли):

– Вот так и в работе. Делаешь самую черную работу, спускаешься все ниже и ниже – и вдруг оказываешься уже в направлении творчества – ты понял?

И, уже понижая голос, уже с лирикой, с мягкостью:

– А главное – незаметно. Работал, корпел, мучился – и вдруг: раз! – и, не меняя направления хода, ты уже творец – понятно ли?

Ключареву понятно. Модель как модель, почему же не понять? – и отчасти даже увлекает, не без того.

– Все так. Но это ж до центра Земли сначала дойти надо, – улыбается Ключарев.

– А мы?.. За столько-то лет на этой каторжной теме?! Разве нельзя сказать, что мы дошли туда?

Ключарев пожимает плечами: может быть, да, а может быть, нет... И тут ведь не о чем спорить. И еще штришок. Маленький. Ключарев угадывает скрытую суть всех этих рассуждений: Иван Серафимович надеется. Он очень надеется, едва ли даже признаваясь самому себе. Он надеется, что на этот раз (пора, пора! ему уже пятьдесят лет!) – на этот раз его отделу дадут некую творческую тему в самом высшем смысле. Золотую жилу. Но одновременно (задним-то числом, ведь вот оно как!) Иван Серафимович готовит себя к министерскому отказу, то есть велит продолжать прежнюю тему, и... и Иван Серафимович будет самому себе объяснять, что еще, значит, не дошел он до центра Земли, не заслужил. В этом и суть. А ведь это черт знает что: думать ночами, мучиться, подтаскивать себе в помощь потускневшую космогонию Данте, и все лишь для того, чтоб своему родному и любимому «я» не сделать больно, в случае если заставят продолжать прежнюю тему... Ключарев сдерживает иронию. И думает, как бы это (и чтоб не обидя) сбить всплеск пятидесятилетнего романтика.

– Но можно, Иван Серафимович, и по-другому это представить...

И Ключарев говорит, что скорее-то всего Данте почувствовал недостаточность художественных средств. Данте просто рванулся наугад (и никакой тут кривизны пространства) – рванулся, ну а полет фантазии доделал дело.

– Мне очень жаль, – сухо вато чеканит Иван Серафимович. – Мне очень жаль, что вас устраивают такие бедненькие объяснения.

Это он обиделся.

Ключарев встает и делает два шага к Ивану Серафимовичу (тот стоит у окна, смотрит туда).

– Не переживайте, Иван Серафимович...

– Я?

– Не переживайте. Я почти знаю, что новой темы нам не дадут. Отделов много, разве мы лучше других?.. Дадут нам новую документацию по этой же теме и скажут – продолжайте с Богом! – И тут Ключарев делает маленькую умышленную уступку: – Так что будем еще спускаться, круг за кругом... Верно?

Но начальник угадывает, что это уступка, чуть ли не снисхождение, – и вспыхивает:

– Скажите, Виктор. В вашей жизни вообще есть что-нибудь интересное? Ну хоть что-нибудь?

Ключарев пожимает плечами.

– А где же интересное? Там?.. В вашем Старом Поселке?

– Да. (Да?..)

– А почему вы туда не поедете? Поезжайте. Живите там... Я в каждом молодежном романе читаю, как человеку надоела Москва, дряблые и развращенные городом люди, и

человек взял в конце романа и уехал – кто в поле, кто в поселок. Словом, туда. К тем самым здоровым натурам, где так замечательно...

Ключарев помалкивает. Иван Серафимович обиделся, это ж понятно.

– А что?.. Поезжайте. Устройтесь работать, например учителем. И живите там себе на здоровье...

Ключарев молчит. Ведь не первый такой разговор. Ключарев улыбается, а затем говорит, правда, не слишком находчиво:

– Может быть, и уеду. Не знаю...

– Чего не знаете?

А тут уж Ключарев говорит, найдя слова. Хорошо говорит:

– Себя не знаю.

Пауза.

Ключарев поворачивается, чтоб уйти.

Вот именно. Чуткий и деликатный. Ну мямля, ну пусть. Да ведь и тот начальник хитроватого зама, Шилов, что ли, ведь тоже квашня. Мыльце на шильце. Вот именно... Иван хотя бы добр. Интеллигентен. Поболтать при случае можно. Уезжай, говорит, в свой Старый Поселок. Чудак!..

Ключарев приходит домой. Садится с Дениской за уроки. Жена что-то варит или жарит. А четырехлетняя Тоня всем мешает.

– Вот тебе бассейн. – Ключарев быстро черкает карандашом. – Бассейн емкостью... А вот тебе первая труба.

– Да я сам нарисую, – говорит Денис. – Плохо ты рисуешь. Наш школьный бассейн выглядит так...

Дениска рисует бассейн, две трубы и льющуюся воду.

– Мама говорит, что, когда ты учился, при вашей школе не было бассейна. Правда?.. Как же ты научился плавать?

– Я уже не помню.

– И в баскетбол вы не играли?

– Не отвлекайся.

Но внутренне Ключарев сыном доволен. Задача сложна. Ключарев заставляет Дениску решать двумя способами и учит выбирать оптимальный, это значительно выше школьных требований. Денис, как всегда, решает четко, логично и не без изящества. Иной раз Ключарев с настороженным удивлением вглядывается в его ясное лицо, пожалуй, слишком ясное и целенаправленное.

Звонит телефон.

– Не обращай внимания, не отвлекайся... Итак, объем вдвое больше.

– А скорость воды та же?

– Да.

Голос жены. Она у плиты, на кухне:

– Витя!.. Телефон надрывается – неужели не слышишь?

– Слышу. Мы заняты.

Появляется в дверях маленькая Тоня. Повод есть, она тут же врывается туда, где отец занимается с Денисом, и слегка шепеляво объявляет:

– Сисяс мама придет. Она сисяс руки вымоет.

– «Сисяс, сисяс», – передразнивает Ключарев, изображая строгость. – Сисяс я и сам могу.

Он берет трубку. Он вдруг подумал, что это Лида, с нее станется и сюда позвонить. Но нет – это Бусичкин.

– Виктор, привет.

– Привет.

– Что ты такое сказал сегодня Ивану (то есть Ивану Серафимовичу)? Он в страшной растерянности. Вызвал меня. Стал спрашивать о жизни. Об отношении к работе. И все на таком чудовищно нервном уровне... И вдруг заговорил о том, какой у нас замечательный отдел. Какие мы все талантливые и дружные. К чему бы это?

– Не знаю.

– А вы-то с ним о чем говорили?

Ключарев улыбается:

– О Данте.

– О чем, о чем?

– Да ни о чем. Просто поговорили.

Ключарев вешает трубку. Дениска к этому времени уже решил задачу, и они с Тоней строят друг другу рожи.

– Майя! – кричит Ключарев жене. – Они ведь ели. Не пора им спать?

– Пора. Давно пора... Укладывай.

Ключарев и жена на кухне. Чай. То есть уже чай, и пьется он неторопливо, и дети уже спят, и тишина. «У самовара я и моя Маша», – как иногда шутит Ключарев, подчеркивая минуту... И верно: этот вечерний чай уж давно нечто большее, чем чай. Это точка спокойствия. Подчеркивая защищенность домашней крепости в минуту, когда дети спят.

– Дали читать схему. Торопят как на пожаре...

Майя рассказывает о своей работе – у них отчетный период. Ключарев понимающе кивает. Затем они говорят о Тоне и о гриппе в детском саду. Затем о деньгах. Три месяца не вносили за кооператив. Надо как-то изловчиться. Правда, детей приодели и обули.

– Идем спать, – говорит Майя, глаза у нее слипаются.

– Идем...

Спать-то спать, но Ключарев еще долго поворачивается в постели с боку на бок.

– Майк, а Майк! – трогает он спящую рядом жену.

– Что такое?

– Иван сегодня сказал мне, что, дескать, поезжай в Старый Поселок.

– Ну и что?

– Нет. Ничего особенного... Чудак!

Жена не отвечает, спит... В книжках, говорит, все в конце концов уезжают. И ведь с болью сказал, болело в нем что-то. Вот именно, Иван Серафимович. В книжках. Там, в книжках-то, драматургия. И идея, и цель, видимо, какая-то есть. Вот герой и уехал из большого города, оскорбленный и непонятый. А здесь ведь эпика. И никакой тебе драматургии. Просто живешь. Свое живешь, свое делаешь. И это ж какие беды и оскорбления должны обрушиться на человека, чтоб человек вдруг принял решение уехать. Если такие-то беды, то ведь и о более важном можно задуматься. Не только взять да уехать...

– Майк.

Жена спит. Ключарев тоже засыпает. Бараки. И белое жаркое лето. Пыль на дороге, выбеленная солнцем. Сонная ноздря водопроводной колонки, прямо посреди улицы... Слышно вдруг, как начинает ворочаться кто-то из детей. Дениска. Его кровати скрип.

Но и в Старом Поселке, если уж о начальстве, тоже жил кое-кто. А именно он – инженер Калабанов. Их гордость.

История с красными помидорами разыгралась, когда приехал представитель из Москвы. Весь городок слегка залихорадило. И старопоселковцы тоже заволновались – как-

никак!.. Но наконец строящийся завод был осмотрен. Представитель из Москвы был доволен. Улыбался. А директор завода отер пот со лба и сказал:

– Теперь, может быть, ко мне домой поедем? – И он добавил, как бы пояснил этому влиятельному человеку: – Отдохнете. То есть по-домашнему. В гостинице ведь шумно.

Насчет шума в гостинице он преувеличил, гостиницы просто не существовало. И тут-то их, старопоселковский, Калабанов тоже вошел в разговор. Знай, мол, наших, поселковских. И вроде бы добавил, общего хлебосольства ради:

– Или ко мне поедем. В Поселок... Тоже не пожалеете.

Представитель из Москвы пожал плечами, рассмеялся – целых два предложения! – и, сея небольшую интригу, лукаво спросил:

– А кто что предложит?

Директор сказал про вкусный обед. Сказал про вид из окна на заснеженную степь и на замерзшую реку, когда рядом будет жарко потрескивать алыми чурками печь. Кажется, сказал про самодеятельность. И наверняка про подледную рыбалку – что еще можно предложить на уральской стройке?

И тут их, старопоселковский, Калабанов усмехнулся – не он ведь интриговал представителя, это представитель его. И когда тот, повернув начальственную голову, спросил: «Ну, а вы?..» – Калабанов еще раз усмехнулся и не без эффекта выдал:

– Все то же. Плюс красные помидоры.

– Свежие? – удивился представитель.

– Свежие.

А была зима.

Конечно, Калабанов знал, на что шел, – был у них в Поселке такой Коля Двушкин, их Мичурин. И еще вчера кто-то болтал, что Коля Двушкин как раз снял три ведра красных («уж таких краснящих!») помидоров со своего парника.

Так что Калабанов выиграл бой легко. Он не поддакивал и особенно не зазывал. Он только стоял сбоку, как и положено инженеру.

И вот представитель из Москвы в Старом Поселке, у Калабанова, – огонь в печке, чурки потрескивают, хозяйка ходит павой и чуточку суетится, чтоб водку, скажем, покрасивее поставить на скатерть. А представитель то ли проголодался, то ли просто озяб во время осмотра – словом, немного нервничает и все спрашивает:

– Откуда же свежие помидоры?

Калабанов на своем:

– Секрет.

И тут появляется (примчался шофер – шепчет) другая интрига, сама сплелась. Коля Двушкин был не просто ревнив, но еще и изобретателен в своем чувстве. Он понял так, что приглашение к Калабанову в гости и помидоры, с которыми он явится к столу, – все это лишь предлог, а суть, конечно же, в его, Колиной, красивой жене. Дескать, ее-то напоказ и надо представителю из Москвы.

– Да что же он не едет? – шепчет Калабанов шоферу.

Шофер тоже шепотком:

– Мнется что-то, понять не могу.

– Скажи ему, что я приказываю. И чтоб мигом!

– Есть!

Коля Двушкин такой приказ не то чтобы ожидал – предвидел. И потому тут же, еще до прихода шофера, собрал родню (а Двушкиных было немало) и устроил большую пьянку. Помидоры лежали на столе, а родичи уничтожали их под водку. «Щас, щас, – сказал Коля примчавшемуся шоферу, – не могу же я выгнать гостей». – «Каких гостей?» – «Да вот этих.

Провожу их и приду». – «Да их вроде не было». Но Коля ему тут же рюмку водки в зубы, шапку в руки, шофер выпил – помчался.

А Калабанов как раз говорит представителю из Москвы:

– А ведь хорошо водочки с морозца? Верно?

– Верно, – говорит тот. – Да ведь с морозца-то уже час прошел. Пора бы и за стол сесть.

– Это сейчас, минуточку...

И Калабанов бросается к примчавшемуся шоферу, шепчет в коридоре: «Ну? Где Двушкин?» – «Гостей провожает». – «Каких гостей?.. Да что ж он, черт, тянет, рождает, что ли?» – «Нет. Пьют и помидоры едят». – «Ах, дьявол парниковый! Подлец! Убийца!»

Двушкин тем временем сидел очень собой и своей интригой довольный – с помидорами в Старом Поселке было покончено. Родичи орали песни, красавица жена подтягивала звонко и пьяненько, шум, гам – своя, так сказать, и родная картинка. Два ведра помидоров съели, третье ведро Коля им не дал – больно было смотреть. Коля хотел хоть какую-то извлечь эмоцию, ведь растил и старался, и вот он кликнул пацанов с улицы, своих и соседских, – они расхватили последнее, и это был уже финал, конец помидоров. И вот Коля сидит гордый и довольный и смотрит на влетевшего в дверь шофера. «Ну?.. Ну?.. Ну?..»

«Что «ну»? – говорит Коля. – Я, может, и пришел бы в гости. Да без помидоров неловко. Вроде обещал». За шофером влетает сам Калабанов. «Как это без помидоров?» – «Родичи поели. Не рассчитал». Калабанов скрежетнул, глядит – родичи один веселее другого, жуют, одно слово, молодцы, поработали. А там и сям помидорные остатки, червоточинки и задки. «Ну хоть один, – взмолился он, – остался? Ну хоть последний?» – «Нет, последний дядя Кузя съел. – И зовет, манит пальцем: – Кузь, поди сюда, подтверди».

Калабанов махнул рукой и выбежал.

Жена Калабанова в эти минуты, почуяв правду, начала готовить отступление. Гость томился. Курил. Ходил вокруг стола. Она дала ему рюмку водки:

– А вот и баранок возьмите. Румяные, а?.. Их у нас по-простому помидорами зовут.

– Баранки?

– Ну да. Так и говорят – красные помидоры.

Она сжалилась (мужа все не было, гость явно голодал) и дала еще рюмку:

– Но вы же не из-за помидоров к нам в дом приехали. Наверно, нашу жизнь посмотреть?

Слегка тускнея, гость подтвердил:

– Ну ясно, не из-за баранок. Жизнь посмотреть – это я и хотел.

А Калабанов бегал по Поселку. И повторял своим работягам и их женам.

– Братцы, – говорит он, – ведь опозоримся, братцы!

Рабочие не знали, чем помочь. Их инженер стоял, протягивая руки, стоял сокрушенный: «Что же делать, братцы?» А что можно было делать?.. Из конца барака вывалились хмельные и орущие песни Двушкины. Подошел дядя Кузя, убивался, но вернуть съеденные помидоры уже никак не мог. И тут кто-то вспомнил, что видел своего пацана с помидором – тот по улице бежал. Кинулись искать, пацанов нигде не было. Выручил дядя Кузя, сообразил, что ребята залезли в уютный колодец отопления: «Они там всегда от холода прячутся». – «А что они там делают?» – «Как что? Курят, подлецы!» К колодцу побежало человек десять – спешили, понимая, что пацан с помидором долго играть не станет. Калабанов свернул с тропки и, вонзая в снег сапоги, помчался напрямик по целине.

– Я же клялся!.. Я же обещал! – выкрикивал он на бегу, летел, весь расхристанный и без шапки.

За ним бежали другие, человек десять. С крыльца барака наблюдал за этой гонкой Коля Двушкин – счастливый и пьяненький, он думал о том, какой он молодец и как это правильно держаться от начальства подальше. Однажды тоже приехал большой начальник и вроде бы

помидоры хвалил, обещал, что про Колю в журнал напишет. А потом окосел, лип к его, Колиной, жене и говорил: «Ах ты, моя рыбка...»

У колодца отопления получилась заминка. Пацаны (и Ключарев помнит, что он сидел прямо на трубе, у распределительного крана) тут же и заблаговременно подняли крик и рев. Те, что не курили, орали и выли громче других. «Да вылазьте, мы вас не тронем!» – клятвенно кричали взрослые в темноту колодца. Наконец кто-то спустился вниз. Одного мальчишку подняли, и у него – у первого же! – был довольно крупный помидор. «Ур-ра!» – прокатилось над колодцем. Но это было и все, хотя нет, был еще один, маленький, – от ведра помидоров уцелело лишь два плода. И все-таки это были помидоры. Красные и свежие. Зимой. Их торжественно и бережно вручили Калабанову. И Калабанов, очень резкий, требовательный и временами жестокий человек, повторял и повторял:

– Братцы... Братцы мои.

Красные помидоры сыграли свою незаметную роль. Представитель из Москвы в свое время припомнил старопоселковского Калабанова. Нужно было выдвинуть кого-то, место, что ли, освободилось, и тут-то о Калабанове вспомнили. И ясно, что это не было какой-то особенной благодарностью за две помидоринки – просто память; помнилось, как томился голодный у стола больше часа, а стол был накрыт, и потрескивали в печке те самые алые чурки, и зима за окном... Так их, старопоселковский, Калабанов пошел в гору.

Выходец Поселка и после выдвижения оказался работягой и умницей – стали ценить. Он уже был крупной фигурой областного масштаба. Но натура подстерегала его. Сначала у него появился мотоцикл, первый мотоцикл в Поселке. «Эй!.. С дор-роги!» – орал он, несся с грохотом и треском, и мотоцикл тоже был под стать – злой и свирепый, как сам Калабанов. Жил-то он по-прежнему в Старом Поселке, но все чаще и чаще – люди это заметили – стал заезжать в недалекую от Поселка татарскую деревушку.

Командировки в Москву, поездки в область и татарская деревушка, и тут же в обратном порядке – деревушка с девушкой-татаркой, область и Москва. Так он и носился туда-сюда. Так и жил. Имя девушки-татарки Ключарев уже не помнит. Но помнит, что дальше все было просто. Жена Калабанова написала в управление жалобу – формулировка тогда была стандартная: моральное разложение. И Калабанову предложили образумиться и жить со своей семьей. «Ладно. Буду жить», – сказал Калабанов. Он был хитер, он согласился, рассуждая, как рассуждают все удачливые люди. Дескать, согласиться надо на словах, а удача не бросит. Дескать, время идет, страсть когда-нибудь да утихнет, возьму свое – а там, возможно, вернусь в семью. И он по бездорожью носился на мотоцикле к своей татарке и ждал повышения – его вот-вот должны были выдвинуть, теперь уже в Москву. Он ждал, а в управлении тоже ждали.

И тут надо сказать, что доносы строчила только жена. В поселке Калабанова любили. Конечно, в нем было разгульное, и орал на людей он как зверь, но это было в порядке вещей, да и орал он по делу. Кроме того, он забыл о жене, но о Поселке не забыл. Он улучшил снабжение, построил дорогу, был построен и мост, связавший Поселок с растущим городом. И дело даже не в этой материальности, ведь не знаешь, за что любишь, – а его любили. И ведь выходец из наших, свой, как ни верти... И вот Москва ему отказала в повышении. Более того, строгий выговор.

– Грохнулся наш Калабанов, – говорили в Поселке, жалели его.

– Занесся, да не удержался. – И вздыхали, как о непутевом, но родном.

И тут он грохнулся еще раз, и уже навсегда. К нему в дом пришли все свои, поселковские, люди, выпили с ним, просили: «Петя, ты ж наша надежда», они хотели, может, совет дать, хотели, чтоб образумился, болели за него, все-таки он был их гордостью, а он топал ногами, кричал: «Подлецы! Завистники! Это вы строчили доносы!» В конце концов как-то

поладили. Говорят, песни пели, а Калабанов плакал. Но поздним вечером натура взяла свое – хмельной Калабанов вскочил на мотоцикл и помчался к своей татарочке. Может быть, решил в последний раз, как курильщик хочет «последнюю» сигарету. Переезжая речку на предельной скорости по ветхому мостику напротив татарской деревушки, Калабанов свалился и разможил себе голову.

Понятно, его жалели. Мостик и сейчас зовется Инженерским – так прозвали его татары, а затем все остальные. Это стало маленькой легендой Старого Поселка, и, как всякая легенда, она обросла соответствующими подробностями и тонкостями. Говорят, что молодая татарка нашла косточку головы Калабанова, эту косточку обмыла и вместе с каким-то маленьким винтиком рассыпавшегося мотоцикла захоронила на своем татарском кладбище.

Деревушка называлась Айдырля. Татары принимали Калабанова настороженно, но, видно, тоже полюбили. Он кое-что для них делал, например устраивал татарских мальчишек в ФЗУ – сам их отвозил, сдавал в надежные руки, чтоб было и есть, и спать. Это, кстати, и оказалось началом распада деревушки. Сейчас Айдырли уже нет. Старые поумирали, молодые разъехались. Осталось лишь татарское кладбище. Затем и его распахали под хлеб. Где-то там, под волнующимися (ведь это уже в легенде) колосьями, и винтик мотоцикла, и косточка Калабанова.

Глава 3

– Лида, – сказал он, – я пообещал, но прийти не смогу.

– Я так и знала.

Он почувствовал ее молчание – напряженное, натянутое. И было ясно, что все это надо обрубить просто, внятно и, конечно же, единым разом. Оно и рубить-то нечего, ниточка. Но был он несобран. И вот речь пошла вихляться сама собой:

– Лида... Нам ведь и встретиться негде. Товарищ мой никуда не уезжает, а где же нам еще? Я звонил ему, спрашивал (разумеется, Ключарев никому и не думал звонить), а он говорит: нет, уезжать не собираюсь. Еще и похихикал надо мной.

Лида молчит.

– Конечно, могу приехать к тебе в общежитие, но... Опять эти разговоры. Эта неловкость. Эти пять человек в комнате... Мы даже не поговорим толком, Лида.

– Давно ли ты стал таким щепетильным?

– Во всяком случае, я изменился.

– Поумнел, да?

– И это есть.

Лида на миг примолкла. А затем снова:

– Вот я и закончила институт... Неужели тебе не хочется встретиться со мной? Узнать, как меня распределили. Куда дают направление.

– Расскажи все это по телефону.

– Расскажу, когда увидимся.

– Перестань злиться. А то, ей-богу, повешу трубку.

– Я буду звонить тебе домой.

– Уж не думаешь ли ты меня напугать?

Говорил он и правильно, и жестко, но обрубить не обрубил. Несобран был и потому не нашел момента. А Лида тем более разговора не выдержала – озлобленность не ее черта, не ее свойство. И конечно, держаться не смогла. Заплакала:

– Витя... прости меня. Но ведь я через несколько дней уезжаю. Совсем уезжаю из Москвы... – Она торопилась сказать, слышно было ее дыхание. – Мне ничего не надо. Я только хочу тебя увидеть.

Разумеется, он ей не слишком верил. У него достаточно опыта, чтобы уловить всю непростоту этой характерной интонации: «Мне ведь важно. А что тебе стоит?» Три года прошло, как не виделись. Даже нет, четыре. Лида была студенткой второго курса.

Но если решительный момент разговора упустил, не собрался, то ничего не остается сказать, кроме – и Ключарев сказал:

– Я постараюсь, Лида... Что-нибудь придумаем... Да. Да. Да.

Ключарев дома. Он занимается с Дениской – дает ему дополняющие решения. Ключарев устал, ему не хочется; но не позанимаешься с сыном сейчас – лишь расслабишься. А заниматься после перерыва всегда вдвое тяжелее. У повседневности свои законы.

Они уже заканчивают первое дополнительное решение, когда раздается новый звонок Лиды.

– Значит, мы не встретимся?

Ключарев не сразу понял, кто это звонит. Не вспомнил.

– Ну почему же, – он уже понял и вспомнил и отвечает спокойно, – встретимся.

– Когда?

Лида раздражена, это ясно. «Встретиться нам не хитро – прощаться мы не умеем», – отвечает Ключарев машинально. Он продолжает вглядываться в задачник, по инерции вникая в условие. На секунду он прислушивается к шагам жены – она где-то рядом. Дениска продолжает решать... А Лида взвинчена. Она прекрасно понимает, что домой звонить нельзя, не нужно, неразумно, и это-то взвинчивает ее еще больше.

– Наш Курбасов видел тебя с какой-то мымрой на улице Горького, – звеняще чеканит Лида. – Так это была твоя жена?

– Нет. Это была жена Курбасова.

Ключарев шел по Горького с секретаршей, случайно шел, но не объяснять же. Он сдерживается. Лида на напоре, слова летят. Но едва ли ее хватит надолго, напор быстро истощает говорящего...

– Мне нужно тебя увидеть по делу, – говорит Лида вдруг. – Ты мне не нужен. Ты мне нужен только по делу.

– Я догадывался.

– По делу. Хорошо?

Ключарев морщится, но думать уже поздно.

– Хорошо.

Слышны шаги жены. Ключарев чувствует, что эти шаги слышит и Лида, – она вдруг начинает торопиться.

– На нашем прежнем месте, – говорит она. – На том же самом. Хорошо?

Это у станции метро – и довольно далекой. Ключарев секунду колеблется, но выбирать и обсуждать – в этом уже будет нечто нарочито спокойное и холодное. Он спокоен внутренне, ну и достаточно.

– Договорились, – ставит Ключарев точку. Но тут же добавляет, и это уже с небольшой укоризной: – Расставаться, Лида, надо по-хорошему.

– Что? Я не поняла...

Денис уже записал решение и разглядывал отца. Лида – на том конце провода – прощается, торопится и вешает трубку. Ключарев тоже кладет трубку. Он не выпускал из рук задачника, теперь он вглядывается в текст и начинает зачитывать новое условие. Дениска синхронно берет авторучку – уже пишет.

Жена приоткрывает дверь.

– Наташа звонила? – спрашивает она, имея в виду свою подругу (точнее сказать, их общего друга – друга дома).

– Не Наташа... Да так, – машет рукой Ключарев.

Некоторое время он сидит молча, отключенно.

Дениска спрашивает:

– Тебя чем-то расстроили, папа?

– Давай занимайся! – резко говорит Ключарев.

После ужина Ключарев помогает жене готовиться к отчету. Дети спят. Тишина... Наконец чай. У самовара я и моя Маша. Но сегодня чай получается молчаливый, речь вялая – усталость к концу недели.

Ключарев ставит пластинку, послушать что-нибудь мелодичное – это будет, пожалуй, к месту и неплохо и сотрет некоторую нечисть нынешнего дня. Жена рассказывает, что недавно звонила Анечка – сестра Ключарева. Она живет в Химках, но видятся они не часто, хотя родной человек.

– Кажется, мужа Анечки все-таки положат на операцию... Анечка сказала, что очень боится.

Ключарев понимающе кивает. Он любит сестру. А дело уже давно шло к операции.

Утро с солнцем, пестрое... Лида пришла раньше – Ключарев, выйдя из метро, сразу же замечает ее у будочки «Союзпечати». Три года не видел. Время изрядное. Лида стала как-то меньше ростом, маленькая среди толпящихся людей, – но лицо по-прежнему привлекательно, более того, лицо, глаза, фигура, все то, что называется обликом, кольнуло вдруг Ключарева... Лида тоже оглядывает его быстрым, мгновенным движением глаз. Оба они одеты друг для друга непривычно, незнакомая одежда, даже портфели уже новые – и только лица. Старое в новом.

Он и она быстро идут навстречу – Ключарев целует ее. Секундное замешательство. И теперь с полуметра только лицо, то самое. Прежнее.

– Значит, так... В субботу выпускной наш вечер. Ты приди, – говорит она, первая возвращаясь на землю и к настоящему дню. Оно, положим, Ключарев вернулся первым, но ждал, пока вернется она.

– Это и есть дело? – спросил он.

Лида начинает бегло объяснять, фразы, видимо подготовленные, – тема не совсем проста, щекотлива.

– У меня есть возможность остаться в Москве. Меня берут на работу. Но нет прописки... И кое-кто пообещал меня прописать. Не из уважения, конечно, ко мне. Ну, ты понимаешь... В общем, им надо дать деньги.

Ключарев кивает: понятно.

– Они просят за прописку четыреста рублей. Сто у меня есть.

– Я должен достать триста рублей?

– Да. Я скоро отдам... Как только смогу – отдам. Ты не волнуйся за это.

– Я не волнуюсь.

Ключарев не волнуется. Нечто подобное он предвидел, хотя и не знал, как это будет конкретно. И ясно, ей хотелось сказать ему об этом не у входа в метро, не на бегу, а, скажем, за рюмкой вина, в уединении и в тепле. Но ведь не беда, ведь и на бегу неплохо сказалось... Так и есть. Сначала любовь. Затем перевес постели. А затем – три года спустя – уже деньги, деловые вопросы. Падающая кривая отношений мужчины и женщины. Оно, допустим, ему теперь и грустно и больно, но зато теперь-то полная ясность. Если уж о деньгах зашла речь.

– Но нужно срочно. Очень срочно. Ты понял?

– Понял, Лида.

– Привезешь в субботу?

– Постараюсь.

– Приезжай. Я жду... Не то чтобы буду ждать, а жду.

Она говорит энергично, вся деловая с ног до головы. Что ж. Помогай тебе Бог. Бог как раз деловым и помогает.

– Да-да. В субботу... Привезу... Я же пообещал, – размеренно кивает и отвечает ей Ключарев.

Деловая сторона заканчивается, а с ней и весь разговор. И это первый раз за все время их отношений они говорят о деньгах. Если Лида и не знает об этой самой падающей кривой, то уже наверно чувствует. Женщина. Должна почувствовать к концу встречи. Так и есть: щеки порозовели, глаза напряжены.

– Пока.

– Пока, Лида.

В отделе денег, разумеется, ни у кого не достанешь. Ну трояк, ну пять, но ведь никак не больше. Значит, в обеденный перерыв, – и Ключареву уже как бы подсказывается, – значит, достану в обеденный. Попробую. Через Наташу Гусарову, через друга дома.

Наташа работает в смежном отделе, и в обед Ключареву ничего не стоит поймать ее у входа в столовую – она, то есть столовая, для отделов общая. И вот он уже поработал, и уже обед, и он ждет у входа.

– Деньги? – И Наташа смеется. – Маленькие мужские тайны, а?

– На маленькие мужские тайны не берут по триста рублей.

– Триста? Ого!.. Замашки у тебя что надо!

Ключарев и Наташа перекусывают стоя – у стола с бутербродами и соком.

– Жене не говорить? – подсмеивается Наташа, доставая из сумочки пятьдесят рублей. Пять ровненьких красных бумажек, у нее всегда есть деньжата на какую-нибудь покупку. – Так что? Не говорить жене? – смеется.

– Как хочешь.

Ключареву безразлично. Не станет он ни сочинять, ни выдумывать. Собирает для старой знакомой деньги по ее, можно сказать, настоятельной просьбе – разве не так?

– Ты сходишь к Володику Зарубину, – разрабатывает Наташа план добывания остальных денег.

– А ты?

– А я сбегая к Хоттабычу.

– Он разве близко работает?

– Через дорогу – в большом корпусе. Ты не знал?.. А там же рядом и моя Верушка работает. Рублей сто пятьдесят я принесу. Это наверняка. – Она на секунду задумывается. – А дальше?.. А дальше, если не обойдемся, я слетаю еще к кой-кому...

И уже понятно, что к концу обеденного перерыва, а в крайнем случае к концу дня, сумма будет собрана.

Ключарев дожевывает бутерброд. Наташа допивает из стакана – красивые губы, красный томатный сок, – и опять она смеется. И говорит уже с каким-то восторгом:

– Я все равно Майе донесу, что ты деньги собираешь. Если даже умолять будешь, донесу. Женская дружба – ты этого, Ключик, не поймешь. Ты мужик, что с тебя спрашивать. Не поймешь!

Ключарев слушает ее вполуха. Он ценит Наташу, красивую, находчивую и умелую, ценит ее компанию, но слушать, как она говорит о женской дружбе, это уже что-то лишнее.

– Но ты дослушай. Не спеши. Я и Майя пошли как раз покупать обувь – моему мальчишке и твоему Денису. Очередь была ужасная...

Ключарев кивает. И между прочим, думает, что, если б не Наташа, пришлось бы занимать деньги у Ивана Серафимовича, у начальника. Три сотни не шутка, зачем вам триста рублей, Виктор?.. И пришлось бы шутить, что приезжает к нему, Ключареву, теща на постоянное жительство, а наемные убийцы в наши дни совершенно зазнались и берут немислимые суммы. Иван Серафимович обожает шутки о тещах и их мучительных кончинах.

До конца рабочего дня час, что ли. Может, и полчаса. Тут уж как не подумать о чем-то. О том, например, что бегать и собирать деньги Лиде – это как раз оплата прошлых тихоньких радостей. Как же иначе, мы вам, а вы нам. И уж если честно, то он мог наперед знать из опыта, что эту плату когда-то придется платить.

Вот именно. Платить... И уж само собой, очень мы бываем недовольны, когда этак годика через три Лида, или, скажем, Инна, или, наоборот, Петя вспоминают нас, звонят и говорят: собери-ка, дескать, в знак старой дружбы мне рубликов триста взаймы – ей-богу, позарез нужно. Или достань дубленку. Или устрой в вуз племянничка. Такой дуб растет, ей-богу, не знаю, что будет, если ты в вуз его не устроишь... Или проще: не вспомнить ли, дескать, нам старое, однажды вечером, с винцом, – да нет, без причины, просто хочется все

это вспомнить, а несколько позже, когда уже вспомнишь, – про племянничка, триста рублей или дубленку. Как бы между прочим. И все голосом тихим; как говорится, поэтично.

Или вот. Володик Зарубин рассказывал. О том, как со своей первой любовью встретился. Жена с сынишкой как раз на лето уезжала, вот он и встретился, пригласил, вино два дня выбирал. Ключарев спросил: «Что ж ты грустный, Володик? Или не понравилось?» – «Понравилось. Вот только она пластинки все унесла». – «На память, что ли?» – «Говорит – да». – «Неужели все забрала?» – «До единой. Как цыганка. Вместе с коробками. Оставался уже только Робертино». – «Лоретти?» – «Ну да. Говорю ей: он у меня переросток, уже осипший, голос потерял... Ничего, говорит, в этом, говорит, даже особый драматизм есть. Взяла».

Оно Володик и приврать горазд. Шутник. Да ведь и не совсем же шутка... И он, Ключарев, с Лидой ведь тоже почти предвидел. То есть когда только начиналась эта любовь – скрытная, тайная, с телефонным шепотом и оглядкой, с худосочной поэзией четырех чужих стен, постели и двух бутылок вина на столе, – он ведь уже тогда знал, что все это нормально, стандартно, в точности как у других и что эти-то нормальность и стандартность где-нибудь ему аукнутся. Без особой боли, грубенько, но аукнутся.

Так что тут даже соответствие. Такая плата. Такая и любовь была. Начинаешь и уже наперед знаешь – игра... то есть, конечно же, оно тоже человеческое, наше, что-то ты получаешь, и утоляешь, и даже душой свежеешь, но ведь игра. И ходы наперед. Оно сначала-то ты распаиваешься, рвешься и будто бы даже в море – как же без этого слова! – в море зовешь, и уж конечно, в открытое, и конечно, с волнами. Но проходит некоторое время, и уже держишь лодочку ближе к берегу. Во-первых, аккуратность – «Надо нам быть начеку, зачем нам всякий шум и домыслы?» – затем упорядоченность, два раза в неделю, можно и раз, по пятницам. И больше-то всего боишься, что, скажем, не выдержит она игры, влюбится слишком, вспыхнет, и тут уж приходится сдерживать. Не надо, лапочка. Не нужно, лапочка. Ни к чему, лапочка... Да она ведь, лапочка, к счастью, сама настороже, ум на стреме, и сдерживать, в сущности, ее не приходится, потому что озабочена она, как скоро выясняется, одной-единственной и очень трогательной мыслью: как бы ты не влюбился слишком.

И вот. Смеются над командированными – ребятки, приехав в деревню, или на какой-нибудь пляж, или в поселок, с первого же дня смотрят на местных женщин, как голодные средневековые солдаты. А ведь, в сущности, не смеяться, сочувствовать им надо. Ведь бедняги. Ведь намучились они с боязливенькой стандартной любовью, скрученной и сидящей в телефонном шнуре. Оно ведь и воли хочется. Оно ведь и луг зеленый тоже бывает. И камыш колышется. И чтоб оглянуться и лошадей на опушке увидеть.

В Старом Поселке их звали чокнутыми. Жили они в седьмом бараке – в комнатухе их было трое. Трое работяг, которые говорили исключительно о женщинах. О женщинах, а все остальное в жизни было для них малость и глупость. После работы они пили пиво, играли в карты (домино Ключарев не видел ни разу), курили без передышки и говорили о неземной своей любви.

Был среди них Баев, приехавший сюда на стройку следом за «своей». Он любил ее «сызмальства» – она приехала сюда с мужем, а Баев за ними. Он почти следом ходил за ней, был чаще других бит, предупреждаем – все напрасно.

– Как увижу я, братцы, глазки ее голубенькие! – говорил Баев, шлепая туза козырем, говорил молодцевато и одновременно со слезой. – Как увижу, и ничего мне больше не надо!

А напротив него сидел почти совсем облысевший Бахматов – этот был другого сорта, сорокалетний, хищный, ненасытный и себе на уме. Он преследовал молоденькую Галю Строеву. Он уже сменил трех жен, но все было «не то». Не везло ему. Бахматов ничуть не отчаивался и свято верил в свою звезду:

– Найду я ее, ребята. Найду... Любовь искать надо. Она одна-единственная. И только твоя, как твоя судьба. – И он улыбался острыми глазками. – Она, моя козочка, еще где-то прыгает... Она ж еще не знает, что я ее судьба.

Третьим, и самым интересным из чокнутых, был Челомбитько, нежный, мягкий, задумчивый, влюбленный в «свою», как сраженный наповал, – она была замужем и была удивительная красавица... Как-то Ключарев-мальчик шлепался всю ночь на реке и вернулся под утро. Небо только-только светлело. Метрах в ста от барака, на бревне, сидел Челомбитько, посасывал папироски и смотрел на окно «своей возлюбленной». Видно, всю ночь сидел. Он сидел, как вырезанный из дерева, неподвижный, худой, с ввалившимися щеками, – и Ключарев дико присвистнул ему. Тот молчал. Ключарев еще свистнул.

И как раз проснулся барак.

– Сашук!.. Федотов! Эй, Сашук! – тоненьким фальцетом раздалось женские голоса в бараке. Две-три женщины, как обычно, забывали, когда им на работу – утром ли, в обед ли... На их крики, как всегда, вышел Сашук Федотов, сорок пять лет, грузный, рослый. Старший механик.

– Ну вы, чертовы ведьмы! – ворчал он, протирая заспанные глаза.

Женщины гомонили вокруг, а он стоял, как спящая копна, огромный.

– Ну чего разбудили? Расписание вам сказать?

Он всегда и все знал о сменах. И вот вынул записную книжку, засаленную, большую и пухлую, как сам Сашук. Затем столь же медленно вынул очки.

– Та-ак. Второй цех... Утренние и вечерние смены. Та-ак...

Барак проснулся, и Челомбитько встал, поднялся с бревна. Ключарев-мальчик не успел среагировать, и Челомбитько наткнулся на него. Ясное дело, он понял, кто подсвистывал ему из кустов.

– Опять шлепешься? Чем у тебя только голова заполнена, – сказал Челомбитько.

Ключарев загнал щепу в ладонь, вынул ее и теперь отсасывал из ранки кровь.

– Как там Клава? – по-деловому и не без мстительной нотки спросил Ключарев-мальчик.

Челомбитько промолчал... Клава, вышедшая замуж за Двушкина, за того ревнивого краснопомидорника, не померкла в глазах Челомбитьки, даже когда родила и вроде бы надежд оставалось мало. Не померкла. Может быть, даже новым светом засияла, кто знает?... Но затем Клава опять родила, и на этот раз двойню. И почему-то именно то, что двойня, угнетало Челомбитько. Тут был комический элемент, что-то излишне реальное и здоровое, а это так не шло к его грустной и, как он говорил, вечной любви. Раньше Двушкины – несколько родичей – не раз грозили Челомбитьке, бывало, и колотили. А теперь нет. Теперь в Поселке с восторгом говорили о двойне и о том, какой все-таки Двушкин молодец мужик. А Челомбитько с его печальными глазами был просто забыт. Или – при случае – высмеян.

И вот Челомбитько погасил папироску, вздохнул и сказал сам себе:

– Мотать отсюда надо.

Ключарев спросил, все еще отсасывая кровь из ладони:

– Куда?

– Да мало ли... Сейчас в любом городе строят. – И добавил, прошептал еле слышно: – Мотать надо...

Но не успел. Так и жил. Лишь много лет спустя Ключарев узнал, что Челомбитько в те дни «сдвинулся» – сделался психически болен.

И вот суббота. С утра Ключарев протирает окна. Он добросовестно трет, развинчивает рамы и затем трет стекла изнутри. С высоты пятого этажа он замечает Аникина, жильца из

второго подъезда, – это интересно, а протирать окна становится уже скучно, и Ключарев кричит жене:

– Майк!.. Аникин в гости идет – поставь кофе.

Майя готовится к отчету, и ей, само собой, лень.

– А если сам?

Но Аникин, возможно, и не зайдет – он стоит около длинной вереницы собственных «Москвичей» и «Волг», там обычно играют дети, и что-то объясняет своей Любочке. Хроменькую Любочку – она в возрасте Дениски – дети не желали принимать в игры. А почувствовав в этом сюжет и вкусив интерес, больно поддразнивали. И однажды бедняга Аникин с рвущимся сердцем выбежал из квартиры и раза два шлепнул хорошенькую Олю Бажанову. Благопристойный кооперативный дом взбурлил. Одни видели в Аникине злодея, другие, понятно, защищали. Было и собрание. Ключарев не пошел. «Но душой ты, конечно, Аникина защищал? – спросила Ключарева жена. – Я угадала?» – «Угадала». – «Ну ясно. В любимом твоём Старом Поселке, вероятно, порка была как баня. Не реже раза в неделю, да?» И он даже не стал ей тогда отвечать, промолчал.

– Майк!.. Ну поставь кофе.

– Поставила, поставила... О господи.

– А спиртное что-нибудь есть? – Ключарев заканчивает протирать раму.

– Откуда?

С того дня Аникин и стал иногда заходить к Ключареву. Оказалось, что у него в прошлом тоже есть свой Старый Поселок – назывался он по-другому, «Пятый километр», но суть та же. И такая же ностальгия, такая же тяга туда, несбыточная, разумеется. Усядутся оба, пьют кофе, пьют вино, и до чего ж приятно поговорить.

– Привет! – Ключарев, высовываясь из окна, машет рукой приближающемуся Аникину.

Аникин, как всегда, несколько смущен:

– Я вот с Любочкой ходил в театр... «Синяя птица»...

Ключарев усаживает Аникина – кофе на подходе. Ключарев не сразу начинает о Поселке, разговор придет сам собой. Да, «Синяя птица» – это полезно. Ключарев рассказывает, что как-то Дениска пришел с улицы несправедливо обиженный. Так сказать, проигравший и побежденный, и не важно, какая была игра. Тогда Ключарев стал объяснять сыну, что если победители несправедливы были, нечестны, нехороши, то все ясно. И переживать не стоит. Но Дениску это не устроило. «Вовсе нет, папа... Ты не о том, папа. Ты ничего не понимаешь. Ты брось-ка эти отжившие глупости, а лучше научи-ка меня выигрывать. Мне не слова объясняющие нужны, мне, папа, выигрывать нужно», – примерно так он и сказал, в переводе с детского.

– Жизнь – это жизнь, – задумчиво говорит Аникин.

Разговор приближается к своей вершине. Вот она. Ключарев и Аникин прихлебывают из чашек и неторопливо говорят о том, как хорошо сейчас в Старом Поселке и на Пятом километре.

– А какие люди... А какая там любовь!

А ближе к вечеру Ключарев собирается ехать – передать деньги Лиде, – он объясняет жене:

– Да так. Одному человеку... Старый знакомый.

– Или старая знакомая?

– Или знакомая, – соглашается Ключарев. И поясняет: – Я занял для этого человека. И этот человек им вернет. Я только передаточное звено – так что нас денежный вопрос не касается.

– Я поняла, – говорит Майя. И призадумывается. Деньги напомнили о деньгах, это естественно. – Сходил бы ты к Рюрику, а?

– Схожу. Как-нибудь.

Ключарев почти готов – он уже оделся.

– Но ты не поздно сегодня вернешься?

– Когда я возвращался поздно?

– Смотри, а то я тоже заведу. – И Майя смеется веселым смехом верной жены. – Тоже заведу кого-нибудь... – У дверей она опять говорит: – Попроси у него статью завтра. Не откладывай, а?

Ключарев время от времени подрабатывает рецензированием научных статей. «У него» – это у Рюрика. Не у того, конечно, Рюрика, который воинственный варяг с багровым мечом, а, наоборот, у того, который (как бы в насмешку) скучнейший и мертвейший человек. Просить у него статью для рецензирования – унижение. То есть Рюрик делает огромное благо, давая Ключареву статью. Мог бы и не дать. А дать, скажем, эту статью другому.

– Так ты сходишь завтра к нему? Обещаешь?

– Да, да! – быстро и бездумно соглашается Ключарев.

Он уходит. В метро оказывается какая-то группка людей с гитарой. И кто-то поет. И даже с голосом, не только с сердцем. И тут Ключареву становится не по себе от их лирики. Он машинально ощупывает в кармане пачку приготовленных денег, плату за эту самую лирику, и лицо его делается кислым, желчным.

Ключарев вошел в институт, где учится Лида, точнее сказать, где училась. Он бывал здесь раньше. Когда-то. Сейчас здесь нарядно. В фойе висят разноцветные шары, гирлянды, флажки и тому подобное – похоже на Новый год, но без елки в центре. Лето за окнами.

– А где же это, как ее... торжественная часть?

– Опоздал. Кончилась! – отвечали ему радостные голоса.

В просторном фойе уже танцы, гремит музыка. Ключарев неторопливо заглядывает и туда, и сюда, и к буфету, и понятно, что не так уж весело, – прошло мое время, уже другое время, другие песни, – и тут на него налетела стайка из пяти девушек, среди них Лида.

Они как бы сталкиваются, и Лида бросается к нему:

– Вот ты и пришел, я же знала, знала!

Она радостно бросается к нему, целует. От нее слегка пахнет шампанским. Подруги некоторое время наблюдают, затем отходят в сторону.

– Вот и пришел, вот и пришел! Мне еще бабка говорила, что я счастливая!

Счастливая или нет, но уж точно, что она и нарядна, и свежа, и красива. И очень восторженна. И ничего общего с тем телефонным существом, раздражающимся и надоедливым одновременно.

– Нам надо встретить ребят из Института стали... – рассказывает Ключареву один из парней.

Когда-то, когда любовь гудела как паровой котел, а ночевать у Лиды вдруг оказалась невозможным (и уже была ночь, не уедешь), Ключарев ночевал у этого парня. Тот привел Ключарева в свою пахнущую книгами и носками студенческую комнатуху, и там уже спали трое: все было просто, в меру заботливо, и никто ни о чем не спрашивал.

– Хочешь выпить? – предлагает сейчас этот парень, и Ключарев идет с ним к буфету, где они пьют шампанское из бумажных стаканчиков.

Ключарев говорит. И ровный голос не выдает его:

– Я думал, что лучше послушать песни. Разве нет?.. Смотри, круг собрался.

– Конечно! И ведь ты хорошо поешь, – тут же хватается Лида за соломинку, улыбается, счастливая. – Пойдем! – И она тянет его за руку, за собой, к поющим.

Они садятся рядом. Ключарев обнимает Лиду за плечи, здесь все так тесно сидят. Гитара у Ключарева где-то над самым ухом. Поют хором во все горло. О том, как они уедут в далекие края, прощай, столица. Им видятся сейчас глухие деревни и непролазные дороги, хотя вернее, что они будут жить в чистеньких и сытых домиках районного центра. Но Ключареву не до иронии — это ж ясно, что для них происходит сейчас нечто нерядовое и особенное. Он, Ключарев, уже никуда не уедет. Грустно. В чужом пиру похмелье. Но он еще посидит, попойет с ними. Еще немного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.